

Константин Леонтьев

Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой



Константин Леонтьев

**Два графа: Алексей
Вронский и Лев Толстой**

«Public Domain»

1888

Леонтьев К. Н.

Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой / К. Н. Леонтьев —
«Public Domain», 1888

ISBN 978-5-457-13226-9

«...Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю все-таки, он же – Лев Толстой – и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта – Алексея Кирилловича Вронского. О Вронском-то я и хочу поговорить подробнее и, между прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого. Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации...»

ISBN 978-5-457-13226-9

© Леонтьев К. Н., 1888

© Public Domain, 1888

Константин Николаевич Леонтьев Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой (1888)

Было время, когда я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго!

Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж.Санд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик и почти нигилист. Романтику нравилась война; нигилисту претили военные.

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?

До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (немногих в то время) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... Прогресс, напр<имер>. Какой именно прогресс?.. Разве я понимал в 20–25 лет ясно – какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода! Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же... Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и т. п. О вреде или пользе революции, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал.

Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их... Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил. Я сказал – «довольно долго» воинственные средства революции заставляли меня забывать их уравниательные пошлые цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал – «долго». – Но по сравнению со многими другими людьми, пребывавшими, быть может, всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, – я исправился скоро... Время счастливого для меня перелома этого – была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских нот и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья... Я идеями не шутил, и нелегко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели... Наши – путем искусного и тонкого отрицания или ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам Гоголь: «Как все у нас скверно!»), а западные – открыто и прямо (хотя бы Ж. Санд: «Как прекрасен демократический прогресс»)... Но я хотел сжечь и сжег!.. Догорела последняя тряпка гоголевских обносков; истлела последняя ветка той фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но хитрая Аврора Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром... Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша, у которой я прежде жаждал поцеловать туфлю или подол и серьезно мечтал – съездить за этим во Францию, в

Берри и в самый Nohant... я стал подозревать, что она бывает поочередно то самой собою, то нет; то искренна, то притворна... В «Лукреции» искренна; в «Теверино» и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и в других социалистических романах своих притворна; ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду монархии, дворянства, мистических, положительных религий, войн и неравенства – привело бы к такой ужасной прозе, что и вообразить страшно!..

Эстетика жизни (не искусства!.. Черт его возьми, искусство – без жизни!..), поэзия действительности невозможна без того разнообразия положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству и борьбе...

Эстетика спасла во мне гражданственность... Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен, а иногда и недоброжелателен, и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, – для меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всестороннего развития или на сторону лжеполезного разрушения.

Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьевым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью – защищать даже и православие, в котором, к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем.

Государство, монархию, «воинов» я понял раньше и оценил скорее; Церковь, православие, «жрецов» – так сказать – я постиг и полюбил позднее; но все-таки постиг; и они-то, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь – что всякий может уверовать, если будет искренне, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании ее. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренне.

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти «жрецы и воины» (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствует «софист и ритор» (профессор и адвокат)... Первые придают форму жизни; они способствуют ее охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые, по существу своего призвания, склонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению...

С той поры я готов чтить и любить так называемую «науку» только тогда, когда она свободно и охотно служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице; как служит, например, и в наше время эта благородно поработанная вере наука у епископа Никанора в его книге «Позитивная философия» или у Владимира Соловьева в его «Критике отвлеченных начал», как служила она у Хомякова хотя бы и несколько своевольному, но все-таки в основе глубоко православному его чувству. Я уважаю науку тогда, когда она посредством некоторого самоотрицания, посредством частых сомнений в собственной пользе и полезной силе, prepares просвещенный ум человека к принятию положительных верований; то есть таких верований, при которых духовные, таинственные (мистические) начала не могут выразиться в одной отвлеченной и скучной какой-то морали, но ищут воплотить себя даже и в вещественных явлениях внешнего богопочитания. Пожалуй – я скажу, если хотите, – в том самом «ханжестве», которого почему-то так боится г. Ф. Г-в, недавно негодовавший в «Моск<овских> вед<омостях>» на «обскурантизм» «Гражданина».

И что такое, в самом деле, это «ханжество»? Всякий, я надеюсь, знает, что «ханжество» и «лицемерие» не одно и то же. «Ханжество», как слово порицательное, значит (в устах людей, употребляющих его) – излишняя, до мелочности доведенная, преданность всей совокупности церковного культа, а совсем не притворство. Поклонение иконам и мощам, частое хождение в храмы, молитвы «по правилу», а не по одному порыву; исповедь и причастие;

уважение к монашеству, даже и к слабому (какое есть – что делать!) и т. д. Да ведь это и есть православие и больше ничего; один верующий может больше проникнуться любовью к таинственным, духовным началам христианства и чувствовать потребность чаще вступать с ними в общение посредством вещественной, воплощенной, так сказать, святыни; другой – по меньше; третий – изредка; четвертый – не только сам влечется к этому всему, но и проповедует все это другим; положим, хоть так, как делал покойный Аскоченский. Я «Домашней беседы» никогда не читал, но если Аскоченский предпочел христианскую набожность общеевропейской учености, то это делает ему великую честь, и тут нет никакого «обскурантизма» (как это старо и глупо – «обскурантизм»!), а, напротив того, просветление русского ума, свергнувшего с себя вериги чужого рационализма... Не знаю наверное, кто это писал под этими буквами: Фита и Глаголь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.